

Григорий Померанц

Загадочная английская душа

Англия всегда была загадочной для русского ума. Французы и немцы мелькали на глазах как гувернеры, учителя танцев, как чиновники остзейского происхождения. У них не было обаяния тайны; и эти житейские встречи заслоняли далекие вершины культуры. Русские охотно повторяли шутку Гейне: порох выдумал Бертольд Шварц; остальные 29.999.999 немцев пороху не выдумали. С англичанами – другое дело. Они оставались редкостью. Но не только в этом дело. Важнее другое обстоятельство: даже самому побывав в Англии, не удавалось понять, в чем ее принцип.

Русские искали принципы и находили принципы во Франции или Германии. Потом они опровергали эти принципы: французские ради немецких или немецкие ради подновленных французских. Достоевский, в период своей жестокой европофобии, т. е. примерно с 1864 по 1874, отвергал и французов и немцев. Но англичане и тогда не вызывали в нем ненависти. Герой романа «Игрок», Алексей Иванович, ищет сочувствия у мистера Астлея.

Англичане у Достоевского – странные чужаки, иногда симпатичные, чаще непонятные, требующие разгадки и оставшиеся неразгаданными. Европа в целом представлялась ему (и после 1875 года, т. е. после реабилитации классиков) страной дорогих могил, среди которых бродят измельчавшие потомки. В «Зимних заметках о летних впечатлениях», в самом начале взрыва европофобии, это высказано очень резко. О французах Достоевский пишет раздраженно, полемически, сверху вниз, с совершенной уверенностью, что все про этих людей известно и ждать от них нечего. В Англии тон резко меняется. Тут не могилы, тут жизнь – может быть угрюмая, но жизнь. Вопреки схеме, Достоевский почувствовал силу, еще не исчерпанную:

«Я был в Лондоне всего восемь дней, и, по крайней мере, наружно, – какими широкими картинами, какими яркими планами, своеобразными, не регулирующими под одну мерку планами оттушевываясь он в моих воспоминаниях. Все так громадно и резко в своей своеобразности. Даже обмануться можно этой своеобразностью. Каждая резкость, каждое противоречие уживаются рядом с своим антитезом и упрямо идут рука об руку, противореча друг другу и, по-видимому, никак не исключая друг друга. Все это, кажется, упорно стоит за себя и живет по-своему и, по-видимому, не мешает друг другу. А между тем и тут та же упорная, глухая и уже застарелая борьба, борьба на смерть общезападного личного начала с необходимостью хоть как-нибудь ужиться вместе, хоть как-то составить общину и устроиться в одном муравейнике; хоть в муравейник обратиться, да только устроиться, не поедая друг друга – не то обращение в антропофаги! В этом отношении, с другой стороны, замечается то же, что и в Париже: такое же отчаянное стремление с отчаянья остановиться на status quo <...>. В Лондоне хоть и так же, на зато какие широкие подавляющие картины! Даже наружно, какая разница с Парижем. Этот день и ночь суевающийся и необъятный, как море, город, визг и вой машин, эти чугунки,

проложенные поверх домов (вскоре и под домами), это смелость предприимчивости, этот кажущийся беспорядок, который в сущности есть буржуазный порядок в высочайшей степени, эта отравленная Темза, этот воздух, пропитанный каменным углем, эти великолепные скверы и парки, эти страшные углы города, как Вайтчепель, с его полуголым, диким и голодным населением. Сити с своими миллионами и всемирной торговлей, кристальный дворец, всемирная выставка... Да, выставка поразительная. Вы чувствуете страшную силу, которая соединила тут всех этих бесчисленных людей, пришедших со всего мира, в едино стадо; вы сознаете исполинскую мысль; вы чувствуете, что тут что-то уже достигнуто, что тут победа, торжество. Вы даже как будто начинаете даже бояться чего-то. Как бы вы ни были независимы, но вам отчего-то становится страшно. Уж не это ли достигнутый идеал? – думаете вы; – не конец ли тут? Не это ли уж, и в самом деле, «едино стадо». Не придется ли принять это, и в самом деле, за полную правду и занеметь окончательно? Все это так торжественно, победно и гордо, что вам начинает дух теснить. Вы смотрите на эти сотни тысяч, на эти миллионы людей, покорно текущих сюда со всего земного шара, – людей, пришедших с одною мыслью, тихо, упорно толпящихся в этом колоссальном дворце, и вы чувствуете, что тут что-то окончательное совершилось, совершилось и закончилось. Это какая-то библейская картина, что-то о Вавилоне, какое-то пророчество из Апокалипсиса, в очию совершающееся. Вы чувствуете, что много надо векового духовного отпора и отрицания, чтоб не поддаться, не подчиниться впечатлению, не поклониться факту и не обоготворить Ваала, то есть не принять существующего за свой идеал...».

Достоевский не поклонился факту (об этом сразу же написано в «Подполье»). Но картины Англии – это образ достойного противника. Этот образ не укладывается в общую концепцию «Заметок». В «Заметках», а потом в «Игроке» Европа, отжившая свой век, – прежде всего Франция. Она создала формы европейской культуры, сперва средневековой, католической и рыцарской, а потом цивилизации просвещения. Германия протестует против навязанных ей латинских форм, но ничего положительного не может противопоставить. Каким образом из сознания Достоевского выпал Гете, – не знаю. Создавая схемы, человек пропускает то, что в схему не лезет. Не влезли и другие континентальные нации. Вернее, им предоставлена роль статистов. Поэтому Достоевскому не важно, что Сальвадор, его счастливый соперник в отношениях с Суловой, был испанцем. То, чем он прельстил русскую барышню, было французским: «Это только у французов и, пожалуй, у некоторых других европейцев так хорошо определилась форма, что можно глядеть с чрезвычайным достоинством и быть самым недостойным человеком. Оттого так много форма у них и значит... Оттого так и падки наши барышни до французов, что форма у них хороша».

Сальвадор (оставшийся за текстом романа) – один из «некоторых других европейцев». За ним не стоит Сервантес или Кальдерон, – хотя Достоевский очень внимательно читал их. Нечто вроде общезападной массовой культуры чудится ему уже в XIX веке, не с американским тавром, как сейчас, а с французским. Европейцы нивелированы французским романом-фельетоном. Культура досталась

им только как поза, отработанная в прошлом. Поэтому соперник Алексея Ивановича – не испанец (Сальвадор – случайность); это француз с фамилией де Грие, с отсылкой к шевалье де Грие, выкопавшему шпагой могилу Манон Леско: образ, который и в XX веке увлекал русских девушек:

*Зарыта шпагой, не лопатой,
Манон Леско –*

писала молодая Марина Цветаева.

Англия выпала из схемы. Это не статист в европейском спектакле. И это не офранцуженная страна. Задним числом образ Англии в «Заметках» воспринимается, как смутная догадка, что роль гегемона в западной цивилизации может перейти к англосаксам.

Достоевский не был культурологом. Сама эта наука в XIX веке еще не сложилась. Только Шпенглер взглянул на Запад как на одну из глобальных цивилизаций, наряду с дальневосточной, индийской и мусульманской; только после Шпенглера бросились в глаза особенности европейского единства: то, что Европа – не империя (и не развалины империи, как мир ислама), а хор национальных голосов, концерт наций, где то один, то другой инструмент, один или другой голос солирует, а потом уступает первое место другим. Отдельные факты были известны, но они не сложились в образ кочующего инициативного центра европейского развития.

Умом своим Достоевский воспринимал Европу как своего рода духовную империю с центром в Париже и мятежной тевтонской провинцией. Французы воплощали принцип формы, тевтоны – бунт против формы. Россия, – по «Дневнику писателя», – несет в мир новый принцип, довольно туманно описанный: под православием, писал Достоевский в одной из глав «Дневника», – «я понимаю идею, не изменяя однако ему вовсе»; а в романах сталкивались герои, «съеденные» то одной, то другой идеей, и хаотическая натура, жаждущая узды, восклицает: «широк, слишком широк человек, я бы сузил!». То, что можно не втискивать жизнь в принцип и не погружаться в хаос, было английской загадкой. И в картине Лондона, нарисованной Достоевским, чувствуется возможность, на которой мысль писателя не остановилась: возможность Европы без центра в Париже и без власти принципов.

Англия издавна привлекала к себе русских бар устойчивым сочетанием аристократизма и просвещения. То, что там когда-то была революция, не смущало: революция была и сплыла. Англию не лихорадило, как Францию, серией мятежей. Перед глазами был устойчивый и в то же время развивающийся порядок. Любуясь им, заводили английские парки, учреждали английский клуб и недоумевали: как же это у них вышло?

*Здесь натиск пламенный, а там отпор суровый –
Пружины смелые гражданственности новой...*

Просто зависть брала, как эти принципы, которые на континенте вели кровавую борьбу, мирно сочетались друг с другом: аристократизм и свобода, консерватизм и либерализм – и наконец то, что Достоевский не мог не чувствовать, даже не сознавая отчетливо: амальгама христианства с гуманизмом, сложившаяся в новое время, была в Англии устойчивой, тогда как во Франции она распадалась и католичество сталкивалось с атеизмом.

Томас Мертон, созерцавший английскую цивилизацию изнутри, язвительно писал о христианстве Высокой церкви, с точки зрения которой Христос был распят и воскрес для того, чтобы его пример помогал воспитывать образцовых джентельменов. Но в идеале джентельмена было не только лицемерие. Было чувство меры, чувство равновесия принципов, которое кое-что значит. Если не для вечности, то для истории.

В англomании было что-то комичное, и Достоевский ее пародирует. В романе «Идиот» он передает гротескному персонажу, поручику Келлеру, восхищение церемонной вежливостью, с которой благородный виконт полемизирует с благородным графом в палате лордов. Незадолго до этого Келлер обнаруживает очень дурной, карикатурно пошлый литературный вкус. Однако пародия не всегда зачеркивает пародируемое. Иногда она скорее подчеркивает его. Во всяком случае, меня эта пародия не смутила, и когда, в полемике с Александром Исаевичем Солженицыным, я пришел к мысли, что *стиль* важнее предмета полемики, передо мной вставал английский пример. Я утверждал – и продолжаю утверждать! – что сами вопросы, о которых спорили в парламенте XVIII и XIX вв., давно потеряли значение, а стиль дискуссии сохранился, и именно этот стиль – основа устойчивой культуры, то, что труднее всего усвоить. Как вы добились такого безупречно ровного газона? – спрашивает анекдотический русский путешественник. «Подстригайте его двести лет, и у вас тоже получится». Но у России не хватало терпения. Об этом с грустью писал Г.П. Федотов, вспоминая движение сверху вниз английской свободы, начиная с лордов, вырвавших для себя Великую хартию вольностей.

При первой публикации моя мысль о стиле полемики шокировала редакцию «Вестника РХД». Но волна хамства, хлынувшая после перестройки, убедила многих, что для демократии нужны не только известные учреждения, что свобода – это *стиль* жизни, который нелегко создать.

Продолжу эту мысль еще одним анекдотом, который запомнился мне примерно с 1932 г., со школьных лет: один француз – речь, два француз – дуэль, три француз – адюльтер, много француз – революция; один англичанин – сплин, два англичанина – бокс, три англичанина – парламент, много англичан – цивилизация. Бросается в глаза, что переход от одного француз ко многим довольно логичен: красноречивые и пылкие французы устраивают революцию. Напротив, – как понять переход от сплина и бокса к парламенту и цивилизации? То-то и дело, что трудно. Автор анекдота был, по-видимому, очень умный человек, и он сумел шутя выразить свое уважительное удивление пред трудно постижимым. Русская революция подражала французской, гремела словами «комиссар», «террор», «враг народа», и сатирическое изображение французского начала было скрытой сатирой на собственную, русскую революцию, на общую для всех революционеров веру в простоту решений. Анекдот не давал никакого ответа – что делать; но он ставил проблему: как прийти к свободе не от принципа, а от народного характера?

Тютчев писал, что «умом Россию не понять». Действительно, страна, складывавшаяся на перекрестке трех глобальных цивилизаций (Византии, исламизированной степи и Запада), непредсказуема.

Какой параллелограмм сил сложится из византийского чина, татарской (и казацкой) дикой воли и европейских прав личности? Какую систему можно создать из трех несовместимых принципов? Элементарная логика здесь не поможет. Но и Англию нельзя втиснуть в логику. В этой стране нет принципа, господствующего над характером. Напротив, есть стихийно сложившийся характер, формирующий практически необходимые принципы, не становясь их рабом и не бунтуя против этого рабства. Так и живет образец конституционных монархий без конституции, страна закона и порядка без кодекса.

Александр Сопровский, безвременная кончина которого была большой потерей для русской культуры, написал статью «Прайвиси и соборность». Культура России там мыслится как воплощение принципа соборности, Англии – как воплощение прайвиси. Можно ли подвести русскую культуру под один принцип – вопрос, на который я, скорее всего, отвечу «нет». Но верно, что в России, одновременно с европейским просвещением, со спутниками и атомными электростанциями уживается какое-то архаическое, почти племенное преобладание «мы» над «я».

Мое внимание обратил на это норвежский русист П.Н. Воче. Его наблюдения подробно изложены в докладе «Восток-Запад, но где Европа?» на конференции в Осло, 15.11.1999 г.¹ и вкратце в интервью («Невское время», 31.08.2000): «Если англичанин хочет узнать твое имя, он так и спрашивает: «Твое имя?» Итальянец: «Кем ты зовешься?» По-русски это звучит: «Как тебя зовут?» – кто-то зовет, а не ты сам. А когда я впервые услышал фразу: «Мы с Ирой были в кино», я спросил: «С кем? Кто третий?» Здесь все начинается с коллектива». А в Европе – с личности. Отсюда и прайвиси. Насколько специфично английское прайвиси, мне трудно судить; кажется, если сравнивать не с Россией, а со Швейцарией или Норвегией, уникальность бледнеет. Я бы подчеркнул другое: господство характера во взаимодействии характера и закона.

Россию несколько раз ломали и переделывали во имя разных принципов. Даже в сравнительно вольный Киевский период Добрыня крестил огнем, а Путята мечом. Дальше – ломка за ломкой. Москва дыбой и плетью вводила татарские порядки, потом Петр (тем же способом) навязал некоторые европейские нормы. Советские вожди, загоняя в Утопию, ссылались на пример царей-революционеров, и Волошин обобщил это в своем «Северовостоке»:

*В комиссарах – дух самодержавья,
Взрывы революции в царях...*

При этом принципы осуществлялись только «в принципе». И существование принципов «в принципе» стало привычкой. В том же «Невском времени» Воге вспоминает: «Как-то раз я сидел в московском кафе и спросил: «У вас есть кофе?» Официант ответил: «Да, но сегодня нет». То есть в принципе кофе есть, но не конкретная чашка. Этот феномен я называю «принципиальным кофе». Выражение «в принципе, да» встречается у вас очень часто. Оно свидетельствует о том, что идея гораздо важнее, чем материя. План важнее реальной экономики, принципиальный человек – живой человеческой души. А сегодня пришло время «принципиальной

¹ Русский перевод публикуется в одном из сборников ИНИОН.

демократии». В докладе 1999 года Воге анализирует и другие примеры, но я думаю, что достаточно этих. Развивая его мысль, можно сказать, что у нас было византийское христианство (без знакомства народа с Евангелием), европейское просвещение (без европейского уважения к личности), был (в принципе) и коммунизм...

Напротив, в Англии демократия сложилась как образ жизни до идеи демократии; этим она и крепка. Я не думаю, что Черчилль, защищавший демократию от Гитлера, был демократом; скорее аристократом. Во всяком случае, идеологом демократии он не был и дал достаточно скептическое определение ее: «худший образ правления, не считая всех остальных».

В 60-е годы, когда стремительно рушились парламентские системы в Африке, я прочел в одном английском журнале примерно такую фразу: «мы слишком большое значение придавали своим учреждениям и недостаточное – своему характеру». Когда Набоковы покупали все нужное для дома в английском магазине, это чудачество шло от тоски русского либерала по либеральной плоти, по чему-то по ту сторону принципов либерализма, по ту сторону раболепия пред принципами, по ту сторону господства идеи над живой жизнью.

Россия – не только страна политического деспотизма. Это страна деспотизма идей. Увлечение марксизмом было во многих континентальных странах, но нигде – до таких Геркулесовых столбов, как в России. И вот что замечательно: в Англии и других англосаксонских странах заболевание марксизмом было чем-то вроде ветряной оспы сравнительно с черной оспой, поверхностным увлечением интеллектуалов, без соединения марксизма с рабочим движением, без партии нового типа, без ленинского этапа. Английский эмпиризм упорно противился и Гегелю с Шеллингом, и Марксу с Ницше. И то, что презрительно называлось ползучим эмпиризмом, оказалось барьером на пути к оруэловскому кошмару. Евразия состоялась, Восточная Азия состоялась, только Океания не захотела им уподобиться, и удержала весь мир от катастрофы.

В России беспринципность – ругательство. Здесь надо иметь принципы. Этика, потеряв опору на Бога, опирается на принципы. При этом можно вести себя дурно, но главное – не отрицать принципы. Следователь говорил Синявскому: «Лучше бы ты человека убил!» Если бы (предполагая невозможное возможным) был в советское время, в советской литературе писатель, равный Достоевскому, то его Иван Карамазов сказал бы: «Если принципов нет, то все позволено». Рухнули принципы – и начался беспредел. Воссияла истина, ложь назвали ложью, и бандиты, обрадовавшись, принялись упразднить борцов за истину.

В Англии, насколько я это понимаю, свобода в области убеждений ограничена консерватизмом обычаев. Что-то здесь напоминает мне индийское общество, где можно поклоняться любому богу или считать всех богов призраками Майи, но необходимо твердо держаться обычаев своей касты, быть джентельменом своей касты. Возможно, мои представления отстали от жизни, я никогда не был в Англии, но моя тема – образ Англии в русском сознании, и это мой образ.

Преобладание англосаксов в современном мире – известная гарантия глобальной политической стабильности. Один из моих друзей заметил, что стабильность была бы прочнее, если бы центром

силы была собственно Англия, с ее опытом мировой политики и довольно высоким средним интеллектуальным уровнем. К сожалению, Соединенные Штаты только отчасти подобны стране, из которой когда-то уплыл «Майский цветок». Америка сохраняет английский иммунитет к идеям, создавшим тоталитарные государства, но не к идеям вообще. В чем-то она очень легковерна. Духовный вакуум, созданный увяданием протестантизма, заполняет всякая всячина. Соединенные Штаты – питомник самых нелепых увлечений. Правда, эти увлечения уравновешивают друг друга. Кажется, нигде так не распространился, так не захватил сознание фрейдизм. И нигде на Западе не было таких фанатичных сект. Но пока что англосаксонский мир в целом остается ядром Запада, сохраняющего мировой порядок, в целом движущийся к экологической катастрофе.

Этот парадокс требует объяснения, и я постараюсь его дать. Современная цивилизация, созданная – после нескольких неудачных проб – по английскому методу проб и ошибок, вошла в полосу непрерывного и все более разветвленного кризиса. Это ее отличает от всех прежних цивилизаций, которые знали кризисы, но либо погибали, либо преодолевали пороги и переходили к спокойному течению, иногда почти незаметному. Современная цивилизация выходит из кризиса такими средствами, которые создают кризис в новой области. Например, НТР позволила выйти из цикла нарастающих экономических кризисов и формально опровергла Маркса, мыслившего в экономических терминах. Но скачок развития тут же обострил экологический кризис, демографический кризис, духовный кризис... Правда, система кризисов работает так, что в центре перемен, на Западе, создается непрочная стабильность, а психологическая напряженность, вместе с грязными производствами, выносится на периферию. Однако то здесь, то там каскад кризисов создает соблазн «скорой помощи», прыжка в утопию без всяких кризисов. Последствия этих прыжков известны, и слава Богу, что преобладание англосаксов удерживает мир от новых глобальных судорог. Но это не снимает проблемы «медленной помощи», наподобие той, которую христианство оказало Римской империи. И вот здесь, мне кажется, начало конца эпохи. Фукуяма ошибся, история не кончается, но кончается англосаксонская эпоха и может быть даже вся западная эпоха. Ей крайне трудно выполнить то, что предложил Чеслав Милош: заменить призыв «вперед!» призывом «сердца горé!».

Цивилизация Фауста (в литературе) и мистера Домби (в конторе), цивилизация дела, цивилизация прагматиков, в известной мере подобных римским, обречена очередной раз уступить первое место созерцателям и открыть дорогу для духовного роста личности взамен расширения техногенного мира, упершегося в возможности биосферы. К этой задаче англосаксы расположены, по крайней мере, не больше других. Томас Мертон, живший и в Англии, и в Америке, назвал образ жизни своих соотечественников «агрессивно несозерцательным». И хотя отдельные англичане и американцы – пионеры поворота, эти ласточки не делают весны. Развитие может стать полицентричным, или – как это было в прошлом Европы – выдвинется какой-то новый лидер, возможно, среди вестернизированных, не собственно западных стран. Я склонен думать, что англосаксы слишком хорошо обжились в современной

цивилизации, чтобы быть инициаторами переоценки ценностей. Скорее они будут штопать и штопать старый чулок, и пока что их миссия еще не исчерпана. Больше того, какие-то следы английских проб и ошибок, вероятно, перейдут в будущее, как перешли традиции римского права и администрации. *Ex oriente lux, ex occidente lex.*